

включал. Но и со страниц Живого Журнала не удалял. Может быть, рассчитывал на сборники грядущие. Тогда почти получилось – с той разницей, что книга вышла только сейчас. Но ведь и умирать не собирался, как верно сказано в предисловии. С таким диагнозом, в принципе, можно жить долго. Жаль, не у каждого получается.

Но, всё-таки, проговорённые *не очень своим* языком фавулы и нарративы приходили к некоему дискурсу, где главной темой было отсутствие в этом мире сильных. Или точнее – невесильность этих сильных. Как не всеислен автор в мире, создаваемом им. А сделайся он всеисильным, сопрягая слова назло их воле, мир тот станет мёртвым. Примеров в истории литературы масса.

Вот финал одного стихотворения. Про далёкого и нелепого островного бога, который не может ничего, кроме как принять скромные дары:

он ведь сам по себе бедолага хороший  
принесём ему молочка фруктов  
деревенские отвечают  
нам ведь его жалко

А вот начало другого текста. Про наши уже реалии и обычаи:

\*\*\*

капустная голова предтечи  
синеет покрыта ледком на грядке  
как покачивается в потоках водных

утешает: весь мир в порядке  
выпекает: молодцу плыть недалече  
тело разорванное живёт в животных...

Ну, хотя бы так утешает. Из-под раннего заморозка: Иоанна Предтечу ж поминаем в середине сентября.

А чем ещё утешить, если утешить нечем? Говорить нужно, надеяться тоже можно. Однако не более. Иначе обломаешься, как те, из повествовательных текстов. То есть обломаться-то ты всё равно обломаешься. Но хотя бы иначе.

*Кирилл ЯМЩИКОВ*

## РАЗДВОЕННАЯ КАРУСЕЛЬ

**Мария Лебедева. Там темно. – М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2024. – 284 с.**

«Там темно» – роман во всех отношениях сегодняшний. Он складен, компактен и прозрачен, как любое качественное размышление в облике – притчи, городской баллады, упадочной *fairytale*. Здесь очень много проговариваемых вскользь максим, сентенций, не имеющих регуляторной функции, но – добавляющих тексту несколько опосредованной глубины.

Если говорить о «Там темно» в ключе социальных или антропологических исследований, оттенив влияние на него литературы и стилевых фантазмов, то можно вынести немало занятного: размышление о методе? Семейную кинохронику, разобрannую на детали? Строгую деконструкцию привычных взглядов на роман о человеке?

«Лучший вид на этот город – если сесть в бомбардировщик», писал Иосиф Бродский о неприятии идеологического пейзажа. Пейзаж Марии Лебедевой, однако, лишён даже намёка на идеологию, а формула его принятия звучит доходчиво, миролюбиво. Лучший вид на *её город* – «поезд Москва – Санкт-Петербург». Только и всего. Сесть, забыть, уехать.

Чуть дальше, впрочем, сказано: «Так часто думали те, кто остался». От перестановки слагаемых сумма не меняется. Кормиться горем-злосчастьем с видом на Монпарнас или Сиднейскую оперу всё равно означает *кормиться*, страдать и, в конце концов, разыскивать варианты отступления, выхода из тупика. Европейское моралите: от себя не убежишь.

Поначалу меня смущала нарочитая *аккуратность* рассказа. Полумеры, выверенные тональности, развешанные там-сям водяные пистолетики Чехова; выстрелят, но больно не будет. Нейтральный – насколько это возможно – нарратив, упрятавший внутри себя разнобразные артефакты наблюдения, то, что у Марии Лебедевой получается ярче всего.

«Мальши хотел уточку покормить. Оба они – и ребёнок, и птица – переваливаются на непрочных ногах. Мама снимает семейную хроника. Мальши смеётся: как он рад найти хоть кого-то размером поменьше себя». Из таких меткоостей и выстраивается план урбан-печали, технологичной городской хандры. Меня удивляет то, что эпифании и тонкие наблюдения в «Там темно» уживаются с как бы случайными всплесками «актуальности», обрушивающими и готовую интонацию, и – внятное переживание этой интонации.

«Здесь всё остаётся нетронутым вот уже много дней: висящий на спинке стула пиджак, незаправленная постель, ткань на зеркале («Обязательно нужно завесить!» – повторяла тогда мама, и дала свой палантин, и потом не то что забыла – не захотела забрать, как будто желая остаться здесь хоть палантином), чашка с тёмным от чая нутом. Края этой чашки и ей подобных, фигурно изогнутые, с золотинкой, как будто резали губы, и Кира вечно боялась ненароком оттяпать кусок. Ей казалось, что стоит забыться – и раздастся противный хруст, и станет во рту всё солёным-солёным. Но чашки не разбились, не потрескались, не понадукались».

Они оказались крепче, чем их предыдущий хозяин.

От одного вида этих ничейных предметов время скручивается в спираль, иногда – накрывает волной постпророчества, какое бывает, когда читаешь собственные дневники, воображая: сейчас – это тогда, только знаешь теперь наперёд, что станет в будущем, листаешь страницы со снисходительным вздохом то ли автора, то ли творца. Говоришь типа так иронично: «Героиня представить не может, что же ждёт её впереди».

Впереди героиню из прошлого всегда ожидает какая-то хрень».

Этот нехитрый отрывок показателен: ходы Лебедевой раскрыты в нём с предельной наглядностью. Первая половина – внятное, стройное обнаружение слов, хрестоматийных коннотаций; точность и лёгкость. Чуть дальше, впрочем, в повествование врывается «постпророчество», «типа так», «какая-то хрень» и другие элементы времени, личного восприятия языка.

Я вовсе не против такого восприятия, но напрашивается вопрос: чем этот роман хочет быть? Кажется, будто Лебедева стесняется уйти в индивидуальное «вневремя» и нарочито сближает слог, который не очень-то хочет сближаться, с модой, контекстом, гулом сегодняшних предпочтений. Неизбывный диссонанс, рассекающий впечатления от книги надвое: вроде бы и отлично, а вроде бы и двояко.

Сознательно избегаю разговоров о сюжете, героях, идеях, поскольку не вижу в них принципиальной важности. Это книга об узах родства (и «скудного соседства»), одиночестве, хождении по краю и непрерывном поиске своих. Параллельные судьбы; внятный окрестный реализм. Найти и успокоиться? Кира и Яся, девушки-девы с тревожным взглядом, интересны, пока их мыслями руководит авторская воля. Вырываясь же за неё, девушки становятся словами на бумаге.

Автономная живость упущена.

«Маленькая жизнь» Кире и Яси изучена с пристальностью орнитолога, но не даёт читателю выводов и хоть сколь-нибудь ясных обобщений. Эту книгу богатит и вместе с тем уродует орнаментализм – заикленность на речевых рефренах, притчевых уловках и горделивых иносказаниях. Все они примерно из той же плоскости, где находятся «Павел Чжан» Богдановой и «Калечина-малечина» Некрасовой; остроты выдумки, работающие на дополнительную глубину, но не на впечатление.

Это, грубо говоря, цветастые накладки, хихи-хаха, бижутерия, пластиковые бусы и едва ли средство достижения цели. Пустота, обзаведшаяся пышным фасадом; раздвоенная карусель, тянущая на себя сумрачных кучевых близнецов. Кира и Яся скованы одной цепью, связаны разными целями и, кажется, обременены единым проклятием – проклятием наследства, сестринства, тайного и вездесущего.

В их противоборстве, одиночестве скрыты главные достоинства романа (наряду с теми самыми «наблюдениями», что Лебедевой даются виртуозно). Не хватает самоопределения формы, точечного укола. «Там темно» умудряется сближать тысячи несходных контекстов, выпадая, однако, из контекста цельности; это и памфлет, и социальный комментарий, и city lights, и ненастье растущих поколений, и не-

настье авторское-интимное, доверительное, поведенное (*как бы*) наедине.

«Я не испытываю никакой особой удовлетворённости», «Я смотрю в будущее без особого разочарования», – в названиях глав проскальзывает честность, слабость, оголённость, схемы концептуалистов. Так же, снимая фильм за фильмом, работал Фассбиндер. Он всей душой любил названия-манифесты: «Я только хочу, чтобы вы меня любили», «Страх съедает душу», «Любовь холоднее смерти» etc.

Система высказываний Лебедевой кажется мне таким же Welt am Draht – пространством, где плачут птицы, человеки и сновидения. Грёзы об утраченном, мечты о чём-то большем; иными словами, жизнь настоящая, не приукрашенная и себя же манифестирующая. «Там темно» берёт за основу дуализм конкретного семейства, развилки судеб, брошенных на полпути, и их возможные интерпретации.

Здесь всё ещё больше орнамента, чем сути, и стилевой ловкости, нежели стилевой частности. Роман, желающий быть многим – и не останавливающийся на конкретике – формула вполне привычная для дебюта, тем более – для дебюта талантливого; преимущество в фокусе? «На вопрос «что ты делаешь?» Яся врёт «ничего», и ей становится жарко». Мне думается, что притворством и задан нервный, ломаный темп этой книги, – скорость мимезиса, трафарета и погони за действительностью.

Столь бескорыстной погоне прощаешь всякого рода прегрешения – от избытка речевых контрапунктов до неосознанных уходов в герметичку-эстетику-гай-германику, – но по итогу чтения остаётся чувство ловкости, поиска и, видит бог, новизны.

*«Ученик даже опубликовал пару-тройку каких-то рассказов, добротных рассказов и гладких, точно галька на берегу. Где история шла от начала к концу, и была запредельно ясна мотивация всех персонажей. До последнего вымарал он возникшие кое-где штампы: штампы были точнее всего в этом мире, но их полагалось убрать. Никакой лишней детали, тема более чем серьёзна. Эпитафия из Пушкина, чтоб уж наверняка».*

Дебютный роман Марии Лебедевой контрастно вписывается в универсум новой, ещё прорезающейся на устах прозы, и в то же время не способен отпустить фундаментальные принципы старых «бытописаний» – с завязкой на человеке, слабости, невозможности одолеть, превзойти и монотонно возжелать большего, признать стремление к внутренней эволюции. «Там темно» предлагает компромисс по ловле света и не желает читателю того, что уверенно обнаруживает в себе, – неприкаянности, холода и болезненного внимания к теням.

Как жить, когда над твоей головой «небо сделали из алюминия, поцарапали голубьями»?

Вопрос, полагаю, не из лёгких.